

ТИМБУКТУ

ПОЛ ОСТЕР МАСТЕРСКИ ГОТОВИТ КАМПАНИЮ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ СВОЕГО МИСТЕРА ЗЕЛЬЦА В РЯД БЕССМЕРТНЫХ СОБАЧЬИХ ПЕРСОНАЖЕЙ.
КОММЕРСАНТЪ

ПОЛ ОСТЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Пол Остер

Тимбукту

Серия «Интеллектуальный бестселлер»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137426
Тимбукту: Эксмо, Домино; М., СПб.; 2011
ISBN 978-5-699-49497-2

Аннотация

Однажды нью-йоркский поэт Вилли Гуревич вообразил, что послан в мир Санта-Клаусом. Узрев своего патрона в телевизоре, он поменял фамилию на Сочельник и отправился по стране творить добро в компании верного пса по кличке Мистер Зельц – которому и отведена роль рассказчика. Трогательная история их странствий изложена прославленным автором «Нью-йоркской трилогии» и «Книги иллюзий», «Левиафана» и «В стране уходящей натуры» со своей фирменной проникновенностью, классической простотой и сдержанной печалью. И вряд ли Пол Остер имел в виду Чехова, а уж Гавриила Троепольского читать никак не мог, но его Мистер Зельц наследует по прямой и Каштанке, и Белому Биму Черное Ухо.

Содержание

1 4
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Пол Остер
Тимбукту

1

Мистер Зельц знал, что Вилли не жилец на этом свете. Вилли кашлял уже шесть месяцев кряду, и Мистеру Зельцу было чертовски ясно, что на улучшение нечего и надеяться. Медленно, но неуклонно, ни разу не сдав своих позиций, кашель рос и крепчал. Третьего февраля (именно тогда кашель проявил себя в первый раз) он еще притворялся тихим мокротным побулькиванием в легких, но теперь, в разгар лета, развернулся уже в полную силу. Вилли корчился от неудержимых приступов надсадного, визгливого кашля, сопровождавшихся извержением брызг слюны и сгустков слизи. Мало этого: в последние дни в хриплой музыке бронхов зазвучала новая, тревожная нота – колючая, сухая, твердая, после чего приступы стали почти постоянными. Когда Вилли заходился кашлем, Мистеру Зельцу казалось, что его грудная клетка вот-вот разорвется, не выдержав внутреннего давления. Мистер Зельц догадывался, что скоро появится кровь, и когда роковой миг наконец настал (а было это субботним днем), он словно услышал вопль, исторгнутый ангельскими хорами в небесах. Мистер Зельц видел, как это случилось, своими собственными глазами, стоя на обочине шоссе где-то между Вашингтоном и Балтимором. Вилли отхаркнул несколько ярко-алых сгустков в носовой платок, и с этого момента Мистеру Зельцу стало понятно, что последняя надежда растаяла в воздухе. От Вилли Г. Сочельника веяло смертью: это было ясно как божий день. Конца оставалось ждать недолго.

Что было делать бедному псу? Мистер Зельц жил у Вилли с самого щенячества и просто не мог представить мир, в котором он останется один, без хозяина… Каждая его мысль, каждое воспоминание, каждая крупица земли и воздуха носили на себе следы присутствия Вилли. Привычка – вторая натура, и есть доля истины в поговорке о старом псе, который не учит новых трюков. Но дело было не только в любви и привязанности: страх, мучивший Мистера Зельца, имел онтологическую природу. Ему казалось, что если Вилли исчезнет из этого мира, то и сам мир, с большой вероятностью, исчезнет вместе с ним.

В подобных мучительных раздумьях встречал Мистер Зельц воскресное августовское утро, плетясь по улицам Балтимора вслед за своим изможденным недугом хозяином. Пес без хозяина – считай, мертвый пес. Как только Вилли испустит последний вздох, у Мистера Зельца в перспективе не останется ничего, кроме собственной неминуемой кончины. Уже на протяжении многих дней Вилли предупреждал Мистера Зельца о грозящих тому опасностях. Мистер Зельц тщательно запоминал наставления хозяина о том, как скрываться от живодеров, констеблей и лицемеров из так называемых обществ за гуманное обращение с животными, которые подкрадываются к тебе в фургонах без окон и опознавательных знаков. Какими бы сладкими речами они ни завлекали тебя, от приюта для бродячих животных добра не жди. Сначала ловчие сети и пневматические ружья, заряженные ампулами с транквилизатором, затем кошмар клеток, залитых светом флуоресцентных ламп, а в конце тебя ждет смертельная инъекция или газовая камера. Если бы Мистер Зельц принадлежал к какой-нибудь породе, у него еще оставался бы шанс, что кто-то заберет его из приюта. Но верный спутник Вилли был продуктом чудовищного кровосмешения. В нем просматривались колли, Лабрадор, спаниель и еще пара-другая пород, не поддававшихся точному определению. В довершение всех бед неухоженная шкура его была кое-где украшена репьями, из пасти дурно пахло, а в испещренных красными жилками глазах застыла вековая печаль. Такому никто не протянет руку помощи. Как любил выражаться бездомный бард, исход игры

предрешен. Короче говоря, если Мистер Зельц не позаботится о том, чтобы живехонько подыскать себе нового хозяина, то ему суждено кануть в Лету со скоростью падающего камня.

– А если живодеры тебя не поймают, – рассуждал Вилли тем туманным утром в Балтиморе, прислонившись к фонарному столбу, чтобы не упасть, – то могут приключиться тысячи других бед. Попомни, kemo sabe, или ты пристроишься на службу, или твои дни сочтены. Ты только погляди на это жуткое местечко – что ни дом, то китайский ресторан. А если ты полагаешь, что китайцы не пускают слюнки, когда ты проходишь мимо, то ты ничего не понимаешь в восточной кухне. Они без ума от собачатины, дружище. В обязанности каждого шеф-повара входит отлов бездомных собак, которых он потом забивает на задворках ресторана. Им нужно десять, двадцать, тридцать псов в неделю. В меню можно написать все, что угодно, – «утка», «свинина», – но гурманов-то не обманешь, завсегдатаи, они знают, что к чему. И если не хочешь очутиться на тарелке с каким-нибудь «мучу-чай-пань», не смей вилять хвостом у входа в кабак, где собираются китаезы. Ну что, уловил намек, Мистер Зельц? Познай своего врага – и держись от него в сторонке.

Мистер Зельц понимал. Он понимал каждое слово, сказанное Вилли. Сколько он себя помнил, у него не было проблем с английским. Ну, по крайней мере, не больше, чем у любого иммигранта, прожившего в Америке столько же, сколько прожил в ней Мистер Зельц, – семь лет. Конечно же, мамаша учила Мистера Зельца в первую очередь родному языку, английский был для него вторым, поэтому произношение его нельзя было назвать идеальным, но грамматикой он владел в совершенстве. Впрочем, для животного, обладавшего таким интеллектом, как Мистер Зельц, в этом не было ничего удивительного. Большинство собак неплохо понимают речь двуногих, в случае же с Мистером Зельцем обучение шло особенно быстро, потому что хозяин всегда говорил с ним как с равным. С самого начала между Вилли и собакой установились панибратские отношения, а если учесть при этом, что Мистер Зельц был не просто другом Вилли, но его единственным другом, и Вилли до такой степени был влюблен в звук собственного голоса, что, как и положено заправскому болтуну, практически не замолкал с того момента, как продирал глаза рано поутру, и до того времени, пока не валился с ног пьяный вечером, уже не вызовет ни малейшего удивления тот факт, что Мистер Зельц досконально разбирался в тончайших оттенках туземной речи. Скорее вызывает удивление то, что сам он толком говорить не научился. Нельзя сказать, чтобы он совсем не пытался, но сама биология противилась ему, ибо данная собакам от рождения судьбой конфигурация гортани, зубов и языка ограничивала его речевые способности крайне скудным ассортиментом, включавшим в себя тявканье, повизгивание, поскуливание и рычание. Мистер Зельц отлично понимал, что речь его разборчивой не назовешь, но Вилли всегда внимательно выслушивал все его реплики, а что могло быть важнее этого? Мистеру Зельцу никто не препятствовал вставлять время от времени свои краткие комментарии, причем хозяин никогда не перебивал его. А если бы вы посмотрели в этот момент на лицо Вилли, то поклялись бы, что он жадно ловит каждое слово своего друга, отчаянно пытающегося вести себя как положено представителю рода человеческого.

Но в то угрюмое балтиморское утро Мистер Зельц держал рот на замке. Ему остались последние дни, возможно, даже часы вместе с хозяином. Неразумно было тратить их на пустую болтовню и долгие речи, которыми они позволяли себе забавляться в прежние дни. Некоторые ситуации требуют немалого такта и выдержки, а в нынешнюю суровую годину было гораздо уместнее держать язык за зубами и вести себя как положено хорошему, воспитанному псу. Поэтому Мистер Зельц без возражений позволил Вилли взять себя на поводок. Он не скулил, хотя во рту у него уже тридцать шесть часов не было маковой росинки, не обнюхивал воздух в поисках дамских ароматов, не останавливался ежесекундно, чтобы поднять ногу у каждого фонарного столба или пожарного гидранта. Он попросту плелся сле-

дом за Вилли, принимая посильное участие в поисках того адреса, по которому направлялся хозяин, – Калверт-стрит, 316.

Мистер Зельц ничего не имел против Балтимора как такового. Запах у этого города был ничуть не хуже, чем у многих других городов, в которых они перебывали за долгие годы. Хотя Мистер Зельц отлично понимал цель их путешествия, его огорчала сама мысль о том, что человек может провести свои последние часы на земле в месте, где он никогда раньше не бывал. Собака ни за что не совершит такого ляпсуса. Она сначала распростится с белым светом, а затем примет все меры для того, чтобы отдать Богу душу в родных пенатах. Но к сожалению, Вилли, перед тем как умереть, предстояло сделать еще два дела, и, с присущим ему упрямством, он вбил себе в голову, что только один человек на земле может помочь ему в этом. Это была женщина по имени Би Свенсон, и так как, по последним сведениям, эта самая Би Свенсон проживала в Балтиморе, то туда они и отправились ее искать. Все это звучало неплохо, но если какие-нибудь обстоятельства помешают планам Вилли, то Мистер Зельц останется один-одинешенек посреди этого города мраморных лестниц и пирожков с крабьим мясом. И что ему прикажете тогда делать? Один телефонный звонок – и все проблемы были бы решены за полминуты, но Вилли испытывал непреодолимое отвращение подлинного философа к использованию телефона для решения вопросов жизни и смерти. Он лучше будет сбивать ноги в кровь день за днем, чем возьмет эту штуковину и станет говорить в нее с невидимым собеседником. Вот таким-то образом их и забросило за двести миль на улицы Балтимора, где они блуждали без карты в поисках адреса, который вполне мог и не существовать.

Что касается тех двух дел, которые Вилли должен был сделать перед тем, как умереть, то ни одно из них не было важнее другого. Оба дела Вилли считал одинаково важными, и поскольку сделать их по отдельности времени не оставалось, он изобрел комбинацию, которую называл не иначе как чезапикским гамбитом. Это был хитроумный замысел, благодаря которому Вилли рассчитывал, как говорится, убить двух зайцев. О первом деле мы уже упоминали: косматому приятелю Вилли следовало подыскать новых хозяев. Второе же дело касалось самого Вилли: он должен был передать свои сочинения в надежные руки. В настоящий момент труд всей его жизни покоился в ячейке автоматической камеры хранения на автовокзале на Райетт-стрит, в двух с половиной кварталах к северу от того места, где сейчас находились Вилли и Мистер Зельц. Ключ от ячейки лежал у Вилли в кармане, и если Вилли не удастся вложить этот ключ в надежные руки, то каждое написанное им слово будет безвозвратно утеряно и погибнет, когда невостребованный багаж, в соответствии с инструкцией, подвергнут уничтожению.

За двадцать три года, прошедших с того дня, когда Вилли взял себе фамилию Сочельник, он успел исписать семьдесят четыре общих тетради от корки до корки. Там были стихотворения, рассказы, эссе, дневниковые записи, эпиграммы, воспоминания и первые тысяча восемьсот строчек незаконченной поэмы «Дни бродяги». Большинство этих опусов Вилли сочинил, сидя на кухне бруклинской квартиры своей матери, но после того как четыре года назад мать умерла, он был вынужден творить под открытым небом, часто подвергаясь натиску стихий в общественных парках и пыльных скверах, где он пытался поверить свои думы бумаге. В глубине сердца Вилли не питал насчет себя никаких иллюзий. Он знал, что непригоден для жизни в этом мире, но он также знал, как много талантливых строк содержат исписанные тетрадные листы, и посему считал себя вправе держать голову высоко. Возможно, если бы он педантичнее принимал лекарства, или обладал от природы более крепким телосложением, или же не питал такого пристрастия к хмельному питию, которое подают в шумных барах, то он еще одарил бы мир рядом блистательных творений. Но сейчас было уже слишком поздно сожалеть об ошибках и упущениях. Вилли поставил точку в конце последнего предложения, и ждать конца оставалось совсем недолго. Слова, запертые

в ячейке камеры хранения, были единственным, чем он мог оправдать свое существование. Если эти строки исчезнут, все будет так, словно он никогда и не жил.

Вот в связи с чем впервые прозвучало имя Би Свенсон. Вилли знал, что шансы разыскать ее невелики, но если это все же удастся, то, по убеждению Вилли, Би Свенсон перевернет небо и землю, чтобы помочь ему. Когда-то, в незапамятные времена, миссис Свенсон была учительницей Вилли по английскому в старших классах, и если бы не она, он вряд ли осмелился бы поверить в свое писательское призвание. В те дни Вилли еще звали Уильям Гуревич и представлял он собой костлявого шестнадцатилетнего юнца, одержимого страстью к книгам и авангардному джазу. Она взяла его под свое крыло и поощряла первые литературные опыты, в таких неумеренных выражениях восхваляя его талант и настолько преувеличивая достоинства его стиля, что вскоре он начал думать о себе как о следующей великой надежде американской литературы. Дело не в том, права она была или нет как педагог: результаты не столь важны на этом этапе, надежды – важнее. Миссис Свенсон распознала талант Вилли, рассмотрела искру божью в потемках его неоперившейся души, а ведь никому еще ничего не удавалось добиться в жизни, если рядом не было человека, который бы в него верил. Это – бесспорный факт, и в то время как остальным ученикам Мидвудской средней школы миссис Свенсон казалась всего лишь приземистой женщиной средних лет с дебелыми руками, складки жира на которых подпрыгивали и колыхались, когда она писала что-нибудь на доске, Вилли видел в ней само совершенство, ангела, сошедшего с небес и принявшего человеческое обличье.

Но после летних каникул, когда занятия возобновились, миссис Свенсон в школе не появилась. Ее мужу предложили новую работу в Балтиморе, и поскольку она была не только педагогом, но и женой, что ей оставалось, кроме как покинуть Бруклин и последовать за мистером Свенсоном в Балтимор? Для Вилли это был жестокий удар, смягчало который лишь то обстоятельство, что, хотя его наставница и находилась далеко, она его все же не забывала. В течение нескольких лет миссис Свенсон поддерживала оживленную переписку со своим юным другом, читала и рецензировала рукописи, которые он присылал ей, дарила Вилли на день рождения пластинки со старыми записями Чарли Паркера и снабжала адресами маленьких литературных журналов, которые могли бы напечатать его работы. Пылкое хвалебное рекомендательное письмо, написанное ею в год окончания школы, помогло Вилли получить стипендию в Колумбийском университете. Миссис Свенсон стала его музой, ангелом-хранителем и счастливым талисманом в одном лице. В то время Вилли было не о чем мечтать – казалось, он живым попал на небо. Но в 1968 году произошел внезапный срыв, обострение шизофрении, припадок сумасшедшего фанданго, отплясанного на высоковольтных проводах. Вилли поместили в клинику, и после шести месяцев шоковой терапии и психотропных медикаментов он вышел оттуда непоправимо переменившимся. Вилли пополнил ряды душевно увечных. После больницы Вилли уже не писал стихов и рассказов и ему редко удавалось отвечать на письма миссис Свенсон. Причины не столь уж и важны. То ли у него голова не тем была занята, то ли он начал стесняться общения с наставницей, а может, он просто потерял веру в Федеральную почтовую службу и пришел к убеждению, что почтальоны постоянно заглядывают в доставляемую ими корреспонденцию. Так или иначе, некогда объемистая переписка с миссис Свенсон свелась к скудному обмену открытками от случая к случаю, в основном к рождественским поздравлениям с типографским текстом. Так продолжалось лет десять, пока, году в 1976-м, переписка не прекратилась вовсе. С тех пор они не обменялись ни строчкой, ни словом.

Мистер Зельц все это знал и был немало этим обеспокоен. Семнадцать лет миновало с тех пор. Кто тогда был президентом? Джеральд Форд? Даже это с трудом удается вспомнить через столько лет. Кого пытается обмануть Вилли? Себя? Чего только не могло случиться за эти годы! Достаточно подумать о переменах, которые происходят за семнадцать часов или

семнадцать минут, – что же говорить о семнадцати годах! Начнем хотя бы с того, что миссис Свенсон могла сменить адрес. К тому же старушке сейчас уж никак не меньше семидесяти, и если она не впала в маразм или не живет в трейлере где-нибудь во Флориде, то, скорее всего, давно лежит в сырой земле. Вилли и сам допускал такую возможность, когда этим утром они ступили на балтиморскую землю, но, черт побери, сказал он, если у них в стволе остался только этот последний патрон, то почему бы не рискнуть, в конце концов? Ведь жизнь – игра, и нужно быть готовым проиграться до последней нитки.

Ох уж этот Вилли! Он знал столько баек, говорил на столько ладов одновременно, шевелил губами так часто, что Мистер Зельц уже не понимал, когда хозяину можно верить. Где правда, где ложь? Сразу и не скажешь, когда имеешь дело с таким непредсказуемым и сложным типом, как Вилли Г. Сочельник. Мистер Зельц мог поручиться только за то, что он видел собственными глазами, что испытал на собственной шкуре. Он жил вместе с Вилли всего семь лет, поэтому ему приходилось верить Вилли на слово во всем, что касалось предыдущих тридцати восьми. Если бы Мистер Зельц не провел все свое щенячество под одной крышей с матерью Вилли, то биография хозяина оказалась бы скрыта покровом мрака. Но, слушая рассказы миссис Гуревич и сравнивая их с рассказами ее сына, Мистер Зельц умудрился составить себе общее представление о том, как выглядел мир Вилли до тех пор, пока в нем не появился он. Конечно, картина была не полной: многих деталей не хватало, многое приходилось восстанавливать по догадкам, – но Мистер Зельц обладал изрядной толикой проницательности, чтобы отделить зерна от плевел.

Несомненно, мир этот был беден и печален, и атмосфера его чаще бывала пропитана отчаянием и горечью, чем радостью и весельем. Если принять во внимание, через что прошла семья Гуревичей, перед тем как очутиться в Америке, то казался чудом уже сам факт появления Вилли на свет. Из семи детей, родившихся в семьях дедушек и бабушек Вилли в Варшаве и Лодзи, после войны уцелело только двое: Давид Гуревич и Ида Перльмуттер – будущие отец и мать Вилли. Только у них на запястьях не оказалось вытатуированных лагерных номеров, только им удалось ускользнуть из цепких лап смерти. Это вовсе не означает, что им не пришлось хлебнуть лиха, – Мистер Зельц наслушался таких историй, от которых у него дыбом вставала шерсть на загривке. Например, Давиду и Иде пришлось десять дней скрываться на чердаке одного дома в Варшаве, в такой тесноте, что можно было только лежать и передвигаться ползком. Затем месяц они пробирались из Парижа в свободную зону на юге Франции, ночевали в стогах и воровали у крестьян яйца, чтобы не умереть с голоду. Потом был Манд, лагерь для беженцев, все деньги ушли на взятки, чтобы получить временные паспорта. Далее последовали четыре месяца бюрократического ада в Марселе, где Давид и Ида ждали испанские транзитные визы. После этого был долгий паралич в Лиссабоне, мертворожденный сын в 1944 году. Два года они с надеждой глядели в сторону Атлантики, но война все шла и шла, а их сбережения все таяли и таяли. К тому времени, когда родители Вилли в 1946 году наконец очутились в Бруклине, они не столько начинали новую жизнь, сколько вели загробное существование в интервале между двумя смертями. Давид, в Польше некогда подававший надежды как адвокат, теперь с трудом выпросил место у троюродного брата и следующие тринадцать лет каждое утро отправлялся на подземке с Седьмой авеню на пуговичную фабрику на 28-й стрит, Уэст. Первый год Ида вносила свою лепту в семейную кассу, давая уроки фортепьяно юным отпрыскам еврейских семейств, но эти занятия кончились одним прекрасным утром в ноябре 1947 года, когда Вилли высунул свое крошечное личико между ног матери и неожиданно отказался умирать.

Вилли вырос американцем, мальчишкой из Бруклина, игравшим в стикбол на улице, читавшим украдкой под одеялом комиксы и слушавшим Бадди Холли и Биг Боппера. Ни мать, ни отец ничего не понимали в этих радостях жизни, но Вилли это мало трогало, поскольку в те годы важнейшей целью его жизни было убедить себя в том, что родители у

него не настоящие. Они казались ему чужими и непонятными с их нелепым польским акцентом и странными угловатыми манерами. Бессознательно он чувствовал, что выживет, только если сумеет противостоять им во всем. Когда отец скоропостижно скончался в сорок девять лет от сердечного приступа, скорбь Вилли помогло перенести тайное чувство облегчения. Еще на пороге отрочества, в двенадцать лет, он сформулировал свою жизненную философию: повсюду искать беды себе на голову. Чем больше страданий выпадает на твою долю, тем ближе ты оказываешься к истине, к неприглядной сути существования, а что может быть ужаснее, чем когда твой старик сыграет в ящик всего через шесть недель после того, как тебе исполнилось двенадцать? Подобное событие накладывало на тебя трагический отпечаток, снимало с дистанции крысиных бегов навстречу тщетным упованиям и сентиментальным иллюзиям, омрачало твой лик тенью подлинных душевных терзаний. На самом же деле Вилли особенно и не страдал. Отец для него всегда оставался загадочной фигурой; он мог молчать неделями, а затем вдруг разражаться внезапными вспышками гнева. Не раз он награждал Вилли оплеухой по самым пустяковым поводам. Нет, жизнь без этого мешка со взрывчаткой у тебя под боком была не столь уж и тяжела. Честно говоря, привыкнуть к отсутствию отца не составило ни малейшего труда.

По крайней мере, к такому выводу пришел наш славный герр доктор Зельц. Хотите – соглашайтесь с его мнением, хотите – нет, но если не верить ему, то кому же верить? Неужели, выслушивая все эти истории на протяжении семи лет, он не заслужил права именоваться ведущим мировым авторитетом в области изучения Вилли?

Итак, Вилли остался один с матерью. Мать Вилли трудно было назвать легким в общежитии существом, но она хотя бы не распускала рук и выказывала по отношению к сыну немало любви и достаточно сердечной теплоты, чтобы компенсировать те периоды, когда она постоянно попрекала Вилли, поучала его и изводила прочими способами. В целом нельзя сказать, чтобы Вилли не старался быть хорошим сыном. В те редкие моменты, когда он не думал о себе, он даже предпринимал сознательные попытки любить свою мать. Если между ними и существовала какая-то напряженность, то обусловлена она была не столько личными чувствами, сколько противоположными взглядами на жизнь. Из собственного тяжелого опыта миссис Гуревич знала, что мир полон зла и опасностей, и жила в соответствии с этим знанием, пытаясь делать все, что было в ее власти, для того чтобы не дать миру погубить себя. Вилли тоже считал, что мир настроен к нему враждебно, но, в отличие от матери, полагал, что всякое сопротивление бесполезно. Разница между ними заключалась не в том, что одна была оптимисткой, а другой пессимистом. И мать, и сын были пессимистами, но если пессимизм первой вел к жизни в мире страхов, то пессимизм второго выливался в шумное и напускное презрение ко всему сущему. Там, где мать сжималась в комок, сын шел напролом. Там, где мать осторожно пыталась ни в коем случае не заступать за красную линию, сын бесшабашно пересекал ее. Большую часть времени они пререкались между собой. Поскольку Вилли знал, как легко завести мать, он не упускал ни единого случая, чтобы не вступить с ней в конфликт. Если бы только у нее хватило ума относиться к высказываниям сына с достаточным равнодушием, Вилли не стал бы так яростно отстаивать свои взгляды. Но противостояние вдохновляло его, подталкивало к переходу на все более и более экстремистские позиции, и к тому времени, когда школа осталась позади, а впереди распахнулись двери колледжа, Вилли уже полностью сжился с некогда избранной им ролью – бунтаря, возмутителя спокойствия, проклятого поэта, ночующего в канавах обреченного на погибель мира.

Одному богу известно, сколько наркотиков удалось впихнуть в себя этому парню за те два с половиной года, что он провел на Морнингсайд Хайте. Назовите любое запрещенное вещество, и окажется, что Вилли курил его, или нюхал, или впрыскивал в вены. Одно дело – ходить по коридорам, изображая из себя нового Франсуа Вийона, и совсем другое – вве-

сти в себя столько отравы, что ею можно засыпать всю территорию городской свалки Нью-Йорка в Джерси Медоулэндз. Такого натиска не выдержит биохимия даже самого стойкого организма. Судя по всему, Вилли рано или поздно все равно должен был сойти с ума, но кто сможет уверенно утверждать, что психоделическая вседозволенность его студенческих дней не ускорила процесс? Когда соседи по общежитию в один прекрасный день застали Вилли распростертым нагишом на полу его комнаты и распевающим наподобие мантры имена из телефонной книги Манхэттена, отправляя при этом ложкой в рот из горшка свои собственные экскременты, академической карьере будущего хозяина Мистера Зельца был положен преждевременный и необратимый конец.

За сим последовал дурдом, из которого Вилли вернулся в квартиру матери на Гленвуд-авеню. Это было явно не самое лучшее место для него, но куда еще в мире могло направиться несчастное существо, подобное Вилли? Первые шесть месяцев заметных улучшений не отмечалось. Если не считать того, что Вилли переключился с наркотиков на алкоголь, ничего не изменилось. Прежняя напряженность, прежние конфликты, прежнее взаимонепонимание. И тут ни с того ни с сего накануне сочельника 1969 года у Вилли случилось видение, которое изменило все вокруг, произошла мистическая встреча, перевернувшая все его сознание и придавшая всей его жизни совершенно иной ход.

Дело было в половине третьего ночи. Мать легла в постель уже несколько часов назад, а Вилли расположился на диване в гостиной с пачкой «Лаки страйк» и бутылкой бурбона. Он писал и краешком глаза следил за экраном телевизора. Телевизор вошел в его жизнь совсем недавно, как побочный продукт долгого пребывания в психушке. Изображения, сменявшиеся на экране, не особенно интересовали Вилли; большее удовольствие доставляли ему гул кинескопа и серо-голубые тени, отбрасываемые им на стены гостиной. Шла программа «Для тех, кто не спит» (что-то насчет гигантских кузнечиков, пожирающих обывателей города Сакраменто, штат Калифорния), но основная часть эфирного времени была посвящена обычному надсадному восхвалению чудесных новшеств: ножей, которые никогда не тупятся, лампочек, что никогда не перегорают, и волшебных лосьонов, что навсегда избавляют потребителя от кошмара плешивости. «Болтай, болтай, – бормотал Вилли следом за диктором, – старые уловки, вечные враки». Но только он собрался встать и выключить телевизор, как на экране начался новый рекламный ролик, в котором Санта-Клаус появился из чего-то, что выглядело как каминная труба в гостиной пригородного дома где-нибудь в Массапекуа, Лонг-Айленд. Дело было перед Рождеством, поэтому реклама с актерами, наряженными Санта-Клаусом, сама по себе не удивила Вилли. Но этот Санта-Клаус не походил на других: щечки у него пылали огнем, а борода была белизны необыкновенной. Вилли ждал, когда начнется текст, абсолютно уверенный в том, что речь пойдет о средстве для чистки ковров или о квартирной сигнализации, но внезапно Санта-Клаус обратился к Вилли со словами, которые полностью переменили его судьбу.

– Уильям Гуревич, – сказал Санта-Клаус. – Да-да, Уильям Гуревич из Бруклина, штат Нью-Йорк, я с тобой говорю!

В ту ночь Вилли выпил только половину бутылки, к тому же прошло уже восемь месяцев с момента, когда он в последний раз страдал полномасштабными галлюцинациями. Поэтому Вилли знал, что на такую чепуху его не купишь. Он осознавал разницу между реальностью и игрой воображения. Если Санта-Клаус обращался к нему с экрана маминого телевизора, это могло означать лишь одно – то, что он, Вилли, выпил гораздо больше, чем ему казалось.

– Да пошел ты, мистер! – заявил Вилли и без долгих раздумий выключил ящик.

К несчастью, выдержки у него хватило ненадолго. Потому ли, что он от природы страдал любопытством, а может, чтобы увериться в том, что опять не сошел с ума, но Вилли решил снова включить телевизор, хотя бы на самую-самую чуточку. Ведь это никому не

повредит, разве не так? Лучше узнать горькую правду, чем следующие сорок лет каждое Рождество мучиться сомнениями, что же он на самом деле видел.

И что бы вы думали? Санта-Клаус был тут как тут. Он погрозил Вилли пальцем и неодобрительно покачал головой. В глазах его читалось разочарование. Затем он открыл рот и начал говорить (с того самого места, на котором остановился десять секунд назад). Вилли не знал, что ему делать: то ли расхохотаться во все горло, то ли выпрыгнуть в окно. Но что случилось, то случилось. Это было невероятно, но оно произошло, и Вилли понял, что отныне мир никогда не станет для него таким же, как прежде.

– Это было крайне невежливо с твоей стороны, Уильям, – сказал Санта-Клаус. – Я пришел, чтобы помочь тебе, но мы не сдвинемся с места, если ты не предоставишь мне возможности высказаться. Ты следишь за моими словами, сынок?

На последний вопрос явно надо было ответить, но Вилли колебался. Хватит с этого шута горохового и того, что он, Вилли, его слушает. Не хватало еще, чтобы он стал с ним разговаривать.

– Уильям! – воззвал Санта-Клаус. В голосе его слышались неодобрение, упрек и такой напор, что Вилли почувствовал – этому парню лучше не перечить. Если Вилли хочет выбраться из кошмара, то надо подыгрывать этому седобородому громиле.

– Слушаю, босс! – промямлил Вилли – Впитываю каждое ваше слово!

Здоровяк самодовольно улыбнулся. Камера наплывом взяла крупный план его цветущего лица. Следующие несколько секунд Санта-Клаус задумчиво теребил свою бороду, словно не знал, с чего начать.

– Ты знаешь, кто я такой? – внезапно спросил он.

– Я знаю, на кого ты похож, – ответил Вилли, – но это еще не означает, что я знаю, кто ты такой. Сначала я думал, что ты какой-нибудь гребаный актеришка. Затем решил, что ты – джинн из бутылки. Теперь я просто теряюсь в догадках.

– Я тот, на кого я похож.

– Ну, если так, старина, тогда я – зять императора Хайле Селассие.

– Я – Санта-Клаус, Уильям. Иначе говоря – святой Николай. Или, если уж совсем по-простому, Дед Мороз. Единственная добрая сила, оставшаяся в этом мире.

– Санта, ты говоришь? А ну-ка, повтори по буквам: эс-а-эн-тэ-а, верно?

– Ты не ошибся. Мое имя пишется именно так.

– Именно этого я и ожидал. А теперь переставим-ка слегка эти буквы, и что у нас выйдет: эс-а-тэ-а-эн – сатана! Ты, дедушка, сам дьявол во плоти и существуешь только в моем воображении и больше нигде.

Обратите внимание на то, как яростно боролся Вилли с видением, с какой решимостью отвергал соблазн. Он, конечно же, не был одним из тех пустоголовых психопатов, что позволяют призракам и видениям помыкать собой. Вилли противился происходящему, и то отвращение, можно даже сказать, та открытая враждебность, которую он испытывал в первые мгновения своей встречи со сверхъестественным, и убедили Мистера Зельца в том, что Вилли действительно пережил видение, а не сочинил сам всю историю от начала до конца. В изложении Вилли все происходившее возмущало его до глубины души. Это был вызов, брошенный его рассудку, и от одного взгляда на эту воплощенную пошлость в красном колпаке кровь вскипала в жилах у Вилли. Пусть кто-нибудь другой верит во всю эту рождественскую чушь, изобретенную исключительно для того, чтобы простаки легче расставались со звонкой монетой, а кассовые аппараты бойче стрекотали. Санта-Клаус был для Вилли Гуревича самой сутью всего этого бесстыдного разгула потребительских страстей, средоточием рождественского надувательства.

Но этот Санта не был ни самозванцем, ни переодетым бесом. Он был самым что ни на есть подлинным Дедом Морозом, повелителем эльфов и духов, явившимся с посланием доб-

роты, милосердия и самопожертвования. Эта неправдоподобнейшая из фантазий, эта противоположность всего того, за что Вилли боролся, эта абсурдная фигура, этот прохиндей в красном кафтане и в сапожках, отороченных мехом, – да-да, этот самый Санта-Клаус во всем своем блеске и славе явился в телеэфире, дабы потрясти самое основание скептицизма Вилли и исцелить его разбитую душу. Вот так обстояли дела. Если кто-нибудь здесь и фальшивый, так это сам Вилли, сказал Санта-Клаус, а затем битый час разъяснял испуганному и потрясенному парню, что к чему.

Он называл Вилли мошенником, позером и бездарным халтурщиком. Затем он поднял ставки и стал ругать его ничтожеством, клистиром, пустоголовым болваном, пока, действуя таким образом, не пробил оборону Вилли и не явил сияние света его глазам. К тому времени Вилли уже лежал на полу, распростертый, рыдающий в голос, умолял о пощаде и обещал исправиться и стать хорошим. Христос действительно рождался на свет, понял Вилли, и не знать ему ни истины, ни счастья, пока он не доверится явившемуся ему доброму духу. Отныне на него возложена тайная миссия: ежедневно нести весть Рождества в сей мир, не прося от него ничего взамен и щедро даря ему свою любовь.

Иными словами, Вилли решил сделаться святым.

Вот так получилось, что Уильям Гуревич завершил свой земной путь и из плоти его родился новый человек, которого звали Вилли Г. Сочельник. В ознаменование этого события Вилли наутро отправился в Манхэттен, где сделал себе на правой руке татуировку с изображением Санта-Клауса. Процесс был болезненным, но Вилли с улыбкой переносил уколы игл, радуясь тому, что отныне и до конца дней своих он будет носить на себе зримый знак произошедшего с ним превращения.

Увы, когда Вилли вернулся домой и гордо продемонстрировал миссис Гуревич украсившее его кожу изображение, та разразилась потоками слез и впала в гневное возмущение, граничившее с бешенством. Вывела ее из себя не столько сама татуировка (хотя и это тоже, учитывая то, что татуировка запрещена законами Моисея, и то, что означала для нее татуировка на еврейской коже), сколько ее сюжет. Трехцветный Санта-Клаус на запястье Вилли в глазах миссис Гуревич был символом предательства и неисцелимого безумия – именно поэтому она так отреагировала на его появление. До этого момента она еще питала надежды на полное выздоровление своего чада. Миссис Гуревич считала, что всему виной наркотики и что как только их зловредные молекулы покинут организм Вилли и кровь его очистится, он тут же перестанет проводить дни напролет перед телевизором и вернется обратно в колледж. Но теперь все было кончено. Одного взгляда на татуировку было достаточно, чтобы это понять. Тщетные надежды и пустые ожидания упали к ее ногам и разлетелись на мелкие осколки. Санта-Клаус был лазутчиком из лагеря врага; он состоял на службе у пресвитерианцев и католиков, у иисусопоклонников и антисемитов, у Гитлера и ему подобных. Гои завладели мозгом Вилли, а значит, пиши пропало. Все начнется тихо-мирно с Рождества, а там и Пасха не за горами, потом, глядишь, на свет божий появятся кресты и пойдут разговоры о том, что жиды Христа продали, а дальше и оглянуться не успеешь, как штурмовики начнут колотить сапогами в твою дверь. Для миссис Гуревич не было особой разницы в том, что ее сын изобразил на запястье – Санта-Клауса или свастику.

Вилли смутился, и смутился искренне. Он никого не хотел обидеть, и уж конечно, в нынешнем своем состоянии раскаяния и обращения, он не хотел обидеть свою родную мать. Он пытался что-то объяснить ей, но миссис Гуревич и слушать не желала. Она визжала и называла его нацистом. Когда Вилли попытался втолковать ей, что Санта-Клаус – это воплощение Будды, святой, несущий миру послание сострадательной любви и милосердия, она пригрозила, что немедленно отправит сына обратно в психиатрическую лечебницу. Это заставило Вилли вспомнить поговорку, которую он слышал от одного из товарищей по палате в больнице Св. Луки: «Лучше ходить от магазина до дома, чем от аминазина

до комы», – и он тут же понял, что его ждет, если мать исполнит свою угрозу. Решив не испытывать более ее терпение, он накинул плащ и покинул квартиру, направив свой путь бог весть куда.

Так продолжалось долгие годы: Вилли уходил из дому на несколько месяцев, затем на несколько месяцев возвращался, потом снова уходил. Первый его уход был, пожалуй, самым драматическим, в основном потому, что Вилли еще ничего не знал о бродячей жизни. В первый раз он покинул дом совсем ненадолго, хотя Мистер Зельц так и не смог понять, что значит для Вилли «ненадолго» – недели это или месяцы. Что бы там ни случилось с Вилли за время его первой отлучки, вернулся он уверенный в том, что обрел свое истинное призвание. «Не говори мне, что дважды два – четыре, – сказал Вилли матери по возвращении в Бруклин. – Откуда мы знаем, что два – это два? Вот в чем вопрос».

На следующий день Вилли сел за стол и снова начал писать. Он взялся за перо в первый раз с тех пор, как его положили в больницу, и слова текли из него свободно, будто вода из лопнувшей трубы. Вилли Г. Сочельник оказался более даровитым и изобретательным поэтом, чем Уильям Гуревич, и если стихам его порой не хватало оригинальности, то они полностью искупали этот недостаток искренним энтузиазмом. Хорошим примером может послужить стихотворение под названием «Тридцать три правила жизни». Вот его начало:

Брось себя в объятия мира,
И воздух не даст тебе упасть.
Уклонись от них, и мир
Прыгнет тебе на спину.
Отправься нагим по дороге,
Мощенной костями,
Слушая музыку собственных ног,
А если стемнеет —
Не насвистывай, пой!
С открытыми глазами не видно
Дороги. Сними свое платье,
Раздай свои обувь и деньги —
В подарок первому встречному.
Отдай. Если спляшешь тарантеллу
безумия,
Ничто тебе станет дороже
Всех множеств…

Но литература – одно, а жизнь среди людей – совсем другое. Стихи Вилли изменились, но это не давало ответа на главный вопрос: изменился ли он сам? Действительно ли он стал новым человеком или же его желание святости оказалось лишь мимолетным порывом? Вознесся ли он одним скачком к недосягаемым высотам или же перерождение его свелось к татуировке на правом запястье и смехотворному прозвищу, на которое он теперь предпочитал откликаться? Честным ответом было бы и да, и нет, понемногу и того и другого. Ибо Вилли был слаб, чересчур забывчив и слишком часто гневался. Расстроенный рассудок нередко подводил его, и когда рулетку в его голове заклинивало или, напротив, разгоняло до немыслимых оборотов, ставить на нее было рискованно. Как мог человек, столь ущербный духом, отважиться примерить на себя покровы святости? Дело было даже не в возрасте Вилли и не в том, что он прирожденный враль с сильными параноидальными наклонностями. Просто для такой роли он был слишком забавен. Как только Вилли начинал шутить, Санта-Клаус

сгорал от стыда и проваливался сквозь землю, а вместе с ним – и вся затея с любовью к ближним, цветами и улыбками.

В то же время нельзя было сказать, что он плохо старался. Вот это он как раз делал, и большая часть историй, приключившихся с ним, связана именно с его стараниями. Даже если сам Вилли часто не оправдывал собственных ожиданий, у него перед глазами всегда имелся пример для подражания. В те редкие моменты, когда Вилли был способен сфокусировать свои мысли и отказаться от питейных излишеств, он демонстрировал чудеса храбрости и великодушия. Так, в 1972 году, рискуя жизнью, он спас тонувшую четырехлетнюю девочку. В 1976 году он встал на защиту восьмидесятиоднолетнего старца, которого избивали хулиганы на 43-й стрит, Уэст, и за свои старания заработал ножевое ранение в плечо и пулю в лодыжку. Не раз он жертвовал для друга в беде последним долларом, не раз утешал на своей груди несчастных любовников и брошенных любовниц. Ему даже удалось отговорить трех самоубийц (одного мужчину и двух женщин) от их затеи. В душе Вилли имелись светлые пятна, и если вам случалось наткнуться на такое пятно, вы с готовностью прощали ему все остальное. Разумеется, у него не все были дома и он частенько становился совершенно невыносимым, но когда рассудок Вилли прояснялся, то второго такого друга еще надо было поискать, и люди, которым довелось познакомиться с ним в такие мгновения, помнили его до самой смерти.

Рассказывая Мистеру Зельцу о первых годах своих странствий, Вилли чаще поминал хорошее, а о плохом старался забыть. Но кто отважится упрекнуть его в сентиментальности? Мы все страдаем этим, собаки и люди в равной степени. К тому же примите во внимание, что в 1970 году Вилли находился в самом расцвете своей юности и физически был вполне здоров, с крепкими зубами. Кроме того, на его счете в банке имелась небольшая сумма, которая образовалась из отцовской страховки, так что, когда ему стукнул двадцать один год, он вступил в права наследства. После этого он лет десять не испытывал недостатка в карманных деньгах. Но помимо этих двух сокровищ – молодости и денег – важен сам исторический момент, то есть те годы, когда Вилли начал бродяжничать. Страна кишела отщепенцами и юными беглецами из дома, патлатыми визионерами, рехнувшимися анархистами и долбаными психопатами. Несмотря на всю свою необычность и исключительность, Вилли не слишком выделялся на их фоне. Еще один типичный американский чудик, не более того, и куда бы ни заносило Вилли – в Питтсбург или Платтсбург, в Покателло или Бока Ратон, – везде он мог рассчитывать на компанию родственных душ. По крайней мере, так утверждал сам Вилли, и Мистер Зельц не видел оснований, чтобы не верить ему.

Да и какая разница? Пес прожил на свете достаточно долго, чтобы знать, что хорошие истории совсем не обязательно правдивые. Верить или не верить Вилли – это дело личное, главным же был тот факт, что Вилли жил как жил, а годы шли. Что может быть важнее этого? Да ничего! Годы шли, и молодой человек превращался в человека не очень молодого, а мир между тем стремительно менялся. К тому времени, когда Мистер Зельц покинул утробу матери, от юности Вилли остались одни только смутные воспоминания и зелень его прежних дней уже давно прела в компостной куче. Все беглецы вернулись под отчий кров, обкуренные пророки сняли с шеи индейскую бижутерию и нацепили галстуки-бабочки, война кончилась. Но Вилли так и остался Вилли, неукротимым рифмоплетом и самозваным посланником Санта-Клауса, прикрытым грязным рубищем бродяги. Время жестоко обошлось с поэтом, и теперь он – дурно пахнущий и мокрогубый – с трудом вписывался в окружающую среду. Его вид отпугивал людей. Перенесенное ранение и износ организма привели к тому, что он потерял свое былое проворство, благодаря которому в прежние времена с легкостью уворачивался от грозивших ему опасностей. Люди избивали его, когда он спал, сжигали его рукописи, без зазрения совести пользовались его физической и душевной немощностью. После одного такого столкновения с обществом Вилли очутился в больнице со сломанной

рукой и поврежденным зрением. И тут он понял, что без защитника ему не обойтись. Сначала он подумывал о пистолете, но оружие вызывало у него непреодолимое отвращение, и тогда Вилли решил завести себе четвероногого друга.

Миссис Гуревич отнеслась к этой идее без восторга, но сын уперся и настоял на своем. Вот почему Мистер Зельц был оторван от материнской груди и, навсегда распрощавшись с пятью своими братьями-сестричками, переехал из приюта для бродячих животных в Норт-Шоре на Гленвуд-авеню в Бруклине. Честно говоря, Мистер Зельц детство свое помнил крайне смутно. Людской язык поначалу давался ему с трудом. Чудовищный акцент и путаная речь миссис Гуревич, а также склонность Вилли к пародированию голосов различных персонажей (он изображал то Габби Хейса, то Луиса Армстронга; начав день с голосом Граучо Маркса, он мог закончить его, уже подделываясь под Мориса Шевалье) только осложняли дело. По этой причине у Мистера Зельца ушло несколько месяцев на овладение основами английской речи. Кроме того, он страдал от проблем, обычных для всех щенков: мочевой пузырь и прямая кишка не хотели слушаться его. Отсюда постоянно расстеленные на полу кухни газеты и стенания миссис Гуревич всякий раз, когда Мистеру Зельцу случалось помочиться в неположенном месте. Миссис Гуревич была капризной старой дамой, и если бы не нежные руки Вилли и не его ласковые слова, жизнь в квартире Гуревичей могла стать сущим адом. Наступила зима, улицы покрылись льдом и рассыпанной солью, поэтому девяносто восемь процентов времени приходилось проводить дома. Мистер Зельц или сидел у ног хозяина, в то время как поэт трудился над своим очередным шедевром, или же бродил по квартире, исследуя все ее закутки и закоулки. У Гуревичей было четыре комнаты и кухня, и к началу весны Мистер Зельц уже досконально изучил каждую царапину на мебели, каждое пятно на ковре и каждую трещину на линолеуме. Он отличал запах тапочек миссис Гуревич от запаха трусов Вилли, постиг разницу между звонком в дверь и телефонным звонком, никогда не путал позвякивание ключей на брелоке с шорохом пилюль, перекатывающихся в пластмассовом пузырьке. Он был на короткой ноге с каждым тараканом, жившим под раковиной на кухне. Это было скучное, однообразное существование, но откуда Мистер Зельц мог это знать? Откуда мог это ведать маленький щенок с глупеньким умишком, с толстыми неуклюжими лапами, которые запинались об его собственный хвост и то и дело норовили ступить в его собственные какашки? Другой жизни Мистер Зельц тогда еще просто не знал, а посему и не дерзал судить, насколько она наполнена смыслом и радостями, ради которых стоило бы существовать.

Какой же сюрприз поджидал нашего маленького барбоса весной! На улице потеплело, распустились бутоны, и Мистер Зельц с удивлением узнал, что Вилли – не только домосед с карандашом в руке, не только профессиональный непризнанный гений. Воистину у его хозяина оказалась собачья душа! Выяснилось, что Вилли – еще и бродяга и отчаянный авантюрист, менявший на ходу правила игры, короче говоря, незаурядный представитель племени двуногих. Одним прекрасным днем в середине апреля они вышли за дверь и отправились навстречу неведомому, чтобы вернуться в Бруклин только накануне Хеллоуина. Какая собака могла мечтать о большем? Мистер Зельц чувствовал себя счастливейшим из тварей земных.

Затем, конечно, им пришлось пережить еще немало периодов зимней спячки и возвращений под кров родного дома, а также сопряженные с ними месяцы отшельнического существования. Долгие месяцы, наполненные бульканьем радиаторов парового отопления, гудением пылесоса и кофемолки, вкусом консервированного корма. Но стоило Мистеру Зельцу втянуться в ритм городской жизни, как он начинал находить ее привлекательной. Пусть снаружи было холодно, зато в квартире был Вилли, а разве может жизнь казаться плохой, если рядом с тобой – твой хозяин? Даже миссис Гуревич постепенно привыкла к новому жильцу. После того как Вилли научился соблюдать правила общежития, сердце миссис Гуре-

вич заметно смягчилось и, хотя она продолжала ворчать по поводу шерсти Мистера Зельца, которую тот щедро рассыпал по всей квартире, было ясно, что ворчит она только для проформы. Иногда она даже позволяла Мистеру Зельцу примоститься рядом с собой на софе в гостиной и при этом гладила его по голове одной рукой, другой в это время перелистывая журнал. Изредка она откровенно делилась с Мистером Зельцем всеми своими тревогами по поводу своего непутевого блудного сына. Она говорила ему, как страдает оттого, что у такого славного мальчика в голове не все в порядке. Но полсына все-таки лучше, чем никакого сына, farshtaist? И что ей остается, кроме как любить его и надеяться на лучшее? Его, конечно, никогда не похоронят на еврейском кладбище, особенно с этой пакостью, что у него на руке, а разве не горько знать, что твой единственный ребенок не ляжет в землю рядом с матерью и отцом? Еще одна печаль, еще одна мука неизбывная! Но жить-то живым, в конце концов, и, слава богу, оба они здоровы – постучи по дереву! – а значит, все не так уж и плохо, что само по себе чудо, за которое стоит быть благодарным. Такого за деньги не купишь, верно? – иначе это давно бы рекламировали по телевизору. А так, цветной он у тебя или черно-белый, жизнь-то за деньги не купишь; если перед тобой разверзнутся врата смерти, то закрыть их не смогут даже все китайцы на свете, навались они на них.

Вскоре Мистер Зельц обнаружил, что разница между миссис Гуревич и ее сыном гораздо меньше, чем ему казалось вначале. Разумеется, они часто спорили, да и пахли совсем по-разному: Вилли – нечистым телом и мужским потом, а Ида – сложной смесью сиреневого туалетного мыла, крема «Понд» для лица и мятной зубной пасты. Но как только дело доходило до разговоров, шестидесятивосьмилетняя «мама-сан» (как ее именовал Вилли) могла дать фору любому. Стоило ей начать один из своих бесконечных монологов, как мигом становилось ясно, почему ее отпрыск вырос таким отъявленным треплом. Темы монологов у Иды и Вилли, конечно, могли быть различными, но стиль совпадал. Безудержный бурный поток свободных ассоциаций с многочисленными лирическими отступлениями, комментариями в скобках и богатым набором звуковых эффектов, включавшим в себя все, что угодно, от прищелкивания языком до хихиканья и шумных вздохов. У Вилли Мистер Зельц научился многому из того, что касается юмора, иронии и метафорической образности. У мамы-сан – тому, как трудно жить на этом свете. Она объяснила ему все насчет того, что такое мировая скорбь, как чувствует себя человек, плечи которого придавлены тяжестью всей вселенной, и – что всего важнее – как порой спасают слезы от всех этих бед.

Труся за хозяином тем жутким воскресеньем в Балтиморе, Мистер Зельц с удивлением думал, к чему все это ему вспомнилось. «Почему именно миссис Гуревич?» – недоумевал он. Зачем вспоминать тоскливые бруклинские зимы, когда память его хранит столько более ярких и значительных эпизодов? Чего стоит один Альбукерк, где они замечательно отдохнули пару лет назад на заброшенной кроватной фабрике. Или Грета, сладострастная сука, с которой Мистер Зельц провел десять пылких ночей на кукурузном поле под Айова-Сити. Или золотой дождь, пролившийся на них в Беркли четыре года назад, когда Вилли продал за один вечер на Телеграф-авеню восемьдесят шесть ксерокопий своего стихотворения по доллару пггука. Он бы с преогромнейшим удовольствием вспоминал сейчас один из этих сюжетов. Да хотя бы те времена, когда хозяин еще не кашлял – год назад, пусть даже девять или десять месяцев назад, пускай хоть тот период, когда Вилли примостился под бок к той толстой коротышке… как бишь ее, Ванда или Венди – да какая разница! Девица эта жила в трейлере под Денвером и любила кормить Мистера Зельца крутыми яйцами. Она была законченная алкоголичка, бесформенный комок пропитого сала, и ржала все время не переставая, щекоча Мистеру Зельцу мягкое брюхо. И если у Мистера Зельца внезапно высовывалась мокрая собачья морковка, она просто помирала со смеху, так что лицо у нее становилось лилово-красным. А поскольку история эта повторялась довольно часто, то теперь стоило только Мистеру Зельцу услышать слово «Денвер», как в ушах у него начинал звучать

хохот Ванды. Именно это в его понимании и было Денвером, так же как Чикаго для него было автобусом, окатившим его водой из лужи на Мичиган-авеню, а Тампа – солнечными бликами на асфальте душным августовским днем. Таксон же представлялся ему жарким ветром пустыни, пахнущим можжевельником и шалфеем, ветром, который внезапно привносит жизнь в бездвижный воздух.

Мало-помалу он начал охотиться за такими воспоминаниями, пытаясь ухватить хоть одно из них на лету, но бесполезно. Вновь и вновь ему вспоминалась бруклинская квартира, тоскливое заточение в четырех стенах, мама-сан, шлепающая в белых пушистых тапочках по комнатам.

Мистеру Зельцу оставалось только принять это как должное, и, погрузившись в омут тех бесчисленных дней и ночей, он вдруг понял, почему возвращается в воспоминаниях на Гленвуд-авеню, – потому что миссис Гуревич умерла. Она покинула этот мир – как вскоре покинет его и ее сын. Вспоминая первую смерть, Мистер Зельц потихоньку подготавливал себя к неминуемой второй – смерти смертей, которой предстояло перевернуть мир вверх дном, а возможно, и вообще уничтожить его.

Зима благоприятствовала поэтическим трудам. Дома Вилли придерживался ночного образа жизни и чаще всего садился за работу сразу после того, как его мать отправлялась в постель. Жизнь в пути не оставляла ни времени, ни сил для сочинительства. Двигаться приходилось быстро, душа не знала покоя, что-нибудь все время отвлекало, так что с трудом удавалось набросать пару случайных строк на бумажной салфетке. Но, живя в Бруклине, Вилли обыкновенно проводил три-четыре часа ночью за письменным столом, кропая свои вирши в общих тетрадках со скрепленными пластмассовой спиралью листами. По крайней мере, так было, если он не запивал где-нибудь вне дома или не страдал отсутствием вдохновения. Иногда Вилли бормотал что-то себе под нос, сочиняя, а порой даже возбуждался до такой степени, что начинал смеяться, или ругаться, или стучать кулаком по столу. Сначала Мистер Зельц думал, будто эти звуки адресованы ему, но как только уразумел, что это обычный шум, сопровождающий творческий процесс, стал попросту сворачиваться калачиком под столом у ног хозяина в ожидании того момента, когда Вилли устанет слагать стихи и выведет его на улицу помочиться.

Надо признать, жизнь в Бруклине состояла не из одних синяков и шишек, бывали в ней и свои пироги и пышки, стоило только Вилли на какое-то время воспарить над писательскими буднями. Отсчитайте по собачьему календарю тридцать восемь лет назад, и вы попадете в эпоху, когда Вилли работал над Симфонией Запахов. В анналах Вилли та зима значилась как единственная в своем роде – за нее Вилли не написал ни единой строчки. «Да, – сказал сам себе Мистер Зельц, – то были блестящие, безумные времена, от одного воспоминания о которых до сих пор теплеет в груди». Если бы он умел улыбаться, то сейчас улыбнулся бы, если бы умел плакать – пролил бы слезу. И разумеется, если бы он умел делать и то и другое, он разразился бы слезами и смехом одновременно, восхваляя и оплакивая своего хозяина, которому предстояло вскоре покинуть этот мир.

Это случилось еще в самом начале их совместной жизни. Они уже дважды покидали Бруклин и возвращались обратно, и за время скитаний Вилли успел привязаться к своему четвероногому другу. Теперь у Вилли всегда был рядом и защитник, и внимательный слушатель, и источник тепла в холодные ночи. Познакомившись с Мистером Зельцем поближе, Вилли пришел к выводу, что пес этот – воплощение земной доброты и на нем не сыщешь ни единого пятна порока. Он не только поверил в то, что у Мистера Зельца есть душа, но и пришел к выводу, что душа эта намного лучше и чище других душ, и чем больше Вилли присматривался, тем больше утонченности и благородства обнаруживал в ней. Не был ли Мистер Зельц ангелом в образе собаки? Вилли с самого начала допускал такую возможность. А после восемнадцати месяцев тесного общения и пристального наблюдения он пришел к

выводу, что предчувствия его не обманули. Достаточно написать слово «DOG» и поднести к зеркалу листок, чтобы понять, в чем тут дело. «DOG», прочитанное задом наперед, – это «GOD». Собака – это Бог, вот в чем дело. Имя Всемогущего Творца всего сущего содержится в зашифрованном виде в имени четвероногой твари. Разве такое может быть случайностью? Разве здесь нет намека на то, что Мистер Зельц – воплощение той доброй силы, о которой Санта-Клаус поведал ему декабрьской ночью 1969 года? Кто знает, кто знает. Другой, возможно, и поспорил бы с этим утверждением, но для Вилли все было яснее ясного. Именно поэтому Вилли и был Вилли.

Однако, при всем при том, внешне Мистер Зельц во всех отношениях был всего лишь собакой. От кончика хвоста до кончика носа он выглядел как типичный представитель Canis familiaris, и какой бы божественный дух ни скрывался под его мохнатой шкурой, всякий видел в нем прежде всего собаку, мистера Гав-Гав, мсье Вау-Вау, лорда Морду. Как сказал собутыльник Вилли в одном чикагском баре четыре или пять лет тому назад: «Знаешь, в чем заключается вся собачья философия, приятель? Если ты не можешь ни съесть, ни трахнуть эту вещь, помочись на нее».

Но Вилли не сомневался в своей правоте. Кто постиг все тайны теологии? Никто. Если Бог мог послать своего Сына на землю в человеческом образе, почему бы Ему не послать на землю ангела в образе собаки? Мистер Зельц был всего лишь собакой, и, сказать по правде, именно за это Вилли и любил его. Он находил бесконечное удовольствие в созерцании собачьих повадок своего собрата – ведь до этого у Вилли никогда не было домашнего животного. В детстве родители так и не позволили ему завести любимца, несмотря на постоянные просьбы. Он пробовал просить у них котенка, черепашку, морскую свинку, хомячка, золотую рыбку – ответ всегда оставался неизменным. «Квартира слишком маленькая, – говорили они Вилли, – а от животных дурно пахнет, и они дорого стоят; к тому же тебе они скоро надоедят и ты перестанешь за ними ухаживать». Так вот и получилось, что до появления Мистера Зельца Вилли ни разу не представилось возможности наблюдать собачье поведение вблизи и он мало что знал о собаках. Собаки были для Вилли загадочными существами, находившимися на периферии его вселенной. Он знал, что надо обходить стороной собаку лающую и гладить собаку ластящуюся, и не более того. Но буквально через два месяца после того, как Вилли исполнилось тридцать восемь лет, все внезапно переменилось.

Ему пришлось постичь столько нового, привыкнуть к такому множеству вещей, что Вилли с трудом соображал, с чего начать. Что означает виляющий хвост и что – хвост поджатый? Висящие уши и уши торчком? Как понять катание на спине, бег по кругу, вылизывание подхвостья и урчание, скачки в воздух с переворотом и без переворота, оскаленные зубы, наклоненную голову, виляние задом и тысячи других жестов и знаков, каждый из которых выражал какую-то мысль, боль или желание, чувство или намерение? Вилли казалось, будто он овладевает новым языком или изучает затерянное в джунглях племя первобытных людей, пытаясь постичь их нравы и обычаи. После того как Вилли начал понимать основное, он более всего заинтересовался одной головоломкой, которую иногда называл «парадоксом глаза и носа», а иногда – «сенсорным цензором». Вилли был человеком и поэтому воспринимал мир в основном при помощи зрения. Мистер Зельц был всего лишь собакой, то есть существом, практически лишенным зрения. Глазами он воспринимал только общие очертания предметов, определял, кто или что находится перед ним – враг или друг, помеха или полезная вещь. Чтобы понять сложность мира во всех его многочисленных деталях и составить глубокое представление о реальности, он предпочитал пользоваться носом. Все его желания, чувства, представления формировались на основе информации, полученной от органов обоняния. Вначале Вилли с трудом мог в это поверить. Жадность, с которой собаки впитывают запахи, казалась ему невероятной. Стоило Мистеру Зельцу наткнуться на заинтересовавший его аромат, как он устремлялся по следу с такой решимостью, с таким все-

поглощающим энтузиазмом, что все остальное вокруг переставало для него существовать. Ноздри Мистера Зельца превращались в устройство, всасывающее запахи с такой же яростью, с какой труба пылесоса всасывает с ковра осколки разбитого стакана. Порой Вилли даже казалось, что асфальт на улице лопнет от напряжения, когда Мистер Зельц особенно активно обнюхивал его. Послушный пес внезапно превращался в упрямую, ушедшую в себя тварь, которая забыла о том, что у нее вообще есть хозяин. Если же Вилли случалось потянуть Мистера Зельца за поводок прежде, чем тот успевал обнюхать в должной мере привлекшую его внимание какашку или лужицу мочи, пес упирался всеми лапами в асфальт с такой непоколебимой силой, что Вилли часто спрашивал себя, не скрыта ли в подушечках лап Мистера Зельца какая-нибудь тайная железа, выделяющая особой прочности клей.

Как не удивляться всему этому? У собаки примерно двести двадцать миллионов обонятельных рецепторов, в то время как у человека их едва пять миллионов. При таком неравенстве вполне естественно предположить, что восприятие мира собакой будет заметно отличаться от человеческого. Вилли никогда не был силен в логике, но в этом случае им руководила не столько любознательность, сколько любовь, поэтому он занялся вопросом с несвойственной ему дотошностью. Что испытывает Мистер Зельц, обнюхивая предметы? И (что гораздо важнее) почему он испытывает именно это, а не что-то другое?

Тщательные наблюдения привели Вилли к выводу, что интересы Мистера Зельца сводятся к следующим: еда, секс и информация о других собаках. Человек узнает о том, что поделывают ему подобные, из утренней газеты – собака выясняет примерно то же самое, обнюхивая деревья, фонарные столбы и гидранты. Рекс, ротвейлер с острыми клыками, оставил свою отметину на этом кусте, у Молли, хорошенькой спаниельши, – течка, дворняга Роджер сожрал какую-то гадость. Все это Вилли было понятно. Сложности начинались, если попытаться представить, что собака при этом чувствует. Делает ли она это из чистого инстинкта самосохранения, чтобы не оказаться застигнутой врасплох другими собаками, или тут скрывается что-то еще? Идет ли речь только о военной тактике или дело также в получаемом удовольствии? Не испытывает ли собака, засунув голову в мусорный ящик, нечто подобное тому головокружительному чувству, которое испытывает мужчина, прижавшись носом к шее желанной женщины и вдохнув аромат дорогих французских духов?

Трудно было сказать наверняка, но Вилли полагал, что дело обстоит именно таким образом. Иначе почему стоило такого труда оттащить Мистера Зельца от определенных пахучих следов? Именно потому, что пес получал наслаждение, – вот почему. Он находился в состоянии опьянения, он грезил в обонятельном раю и не хотел покидать его. А поскольку, по глубочайшему убеждению Вилли, Мистер Зельц обладал душой, то не разумно ли предположить, что столь духовно развитая собака способна иметь возвышенные интересы, не сводимые к сиюминутным телесным потребностям? Почему бы подобной собаке не испытывать голод духовный, для насыщения которого необходимо нечто вроде религии или искусства? И если, по справедливому утверждению философов, искусство – это вид человеческой деятельности, использующий органы чувств для воздействия на душу, то нельзя ли применить эту формулировку и к собакам, по крайней мере, к собакам с такой развитой личностью, как Мистер Зельц? Не могут ли и они испытывать эстетические потребности, или, иными словами, воспринимать искусство? Насколько было известно Вилли, никто раньше не задавался этим вопросом. Неужели Вилли был первым, кто додумался до идеи искусства для собак? Впрочем, какая разница. Видимо, просто для нее пришло время. Даже если собаки вряд ли в состоянии оценить станковую живопись и струнные квартеты, то кто сказал, что у них не найдет понимания искусство, основанное на запахах? Почему бы не заняться обонятельным искусством? Таким, которое говорило бы с собаками на доступном им языке?

С этих размышлений и началась безумная зима 1988 года. Мистер Зельц никогда прежде не видел Вилли таким возбужденным и энергичным. Три с половиной месяца он

трудился над своим проектом, позабыв обо всем на свете. Он практически бросил пить и курить, спал, только когда уже валился с ног, перестал писать, читать и выходить на улицу. Он сочинял планы, составлял списки, экспериментировал с запахами, чертил диаграммы, сооружал конструкции из дерева, полотна, картона и пластика. Нужно было произвести кучу вычислений, поставить множество экспериментов, найти ответы на целый ряд вопросов. Какова идеальная последовательность запахов? Какую продолжительность должна иметь обонятельная симфония и сколько отдельных ароматов может содержаться в ней? Какую форму следует придать залу, где симфония будет исполняться? Нужно ли соорудить его в форме лабиринта или же лучше будет последовательность вложенных друг в друга коробок, как более соответствующая собачьей природе? Должна ли собака наслаждаться произведением в одиночку или же хозяин может сопровождать ее? Нужно ли строить каждую симфонию вокруг единственной темы – еды или, допустим, секса – или же можно смешивать различные компоненты между собой? Время от времени Вилли обсуждал все эти проблемы с Мистером Зельцем, интересовался его мнением, спрашивал у него совета и извинялся перед ним за то, что вынужден использовать друга в качестве морской свинки для многочисленных проб и экспериментов. Немногим собакам доводилось ощущать себя в такой степени вовлеченными в дела людские. Вилли не только не мог обойтись без помощи Мистера Зельца, но и сама его затея была вдохновлена наблюдениями за псом. Мистер Зельц – скромная, ничем не примечательная дворняга – был вознесен до статуса пса псов, до уровня примера, которому обязан подражать каждый представитель собачьего племени. Стоит ли говорить, что Мистер Зельц был счастлив выполнить любую просьбу своего хозяина. Разве так уж важно при этом, что Мистер Зельц не всегда до конца понимал, чего хочет Вилли? Ведь он был всего лишь собакой, не так ли? А если так, то почему бы ему и не обнюхать кучу пропитанных мочой тряпок? Почему бы не протиснуться сквозь узкий люк и не проползти по тоннелю, стены которого смазаны подливкой от спагетти с тефтелями? Возможно, смысла это не имело никакого, но доставляло Мистеру Зельцу немало веселья.

Собственно говоря, именно в этом ключе он и вспоминал о той зиме теперь: как им было весело вдвоем с хозяином, как Вилли постоянно находился в состоянии восторженного возбуждения. Он не вспоминал о том, какие саркастические комментарии выдавала мама-сан по поводу их исследований. Он совершенно не помнил уже, что «лаборатория» их располагалась в полуподвальном помещении и все эксперименты проводились между бойлером и трубами парового отопления на грязном холодном полу. Важно было то, что они вместе трудились над серьезной задачей, преодолевая препятствия во имя научного прогресса. Если что-то и расстраивало иногда Мистера Зельца, так это чрезмерная увлеченность хозяина их проектом. Вилли настолько верил в свои опыты, настолько всего себя с потрохами посвятил своей идее, что все больше и больше терял связь с реальностью. Порой он говорил о своем изобретении так, словно оно обречено было войти в число великих открытий – таких, как лампочка накаливания, аэроплан или микропроцессор. Они будут купаться в деньгах, заявлял Вилли, они станут мультимиллионерами, и им никогда больше не придется отказывать себе ни в чем. Но порой Вилли начинал терзаться сомнениями и неуверенностью. Он принимался развивать перед Мистером Зельцем контраргументы, которые были так тщательно обоснованы, что пес начинал волноваться за душевное здоровье хозяина. Не зашли ли они слишком далеко? – спросил Вилли как-то вечером, включив в оркестровку симфоний запахи сексуального происхождения. Не вызовут ли такие запахи у собаки похоть, подавив ее эстетическое восприятие и превратив все произведение во что-то вроде порнографии для собак? Сразу же вслед за этим заявлением Вилли принялся сочинять каламбуры, что случалось с ним всегда, когда его мозг работал на предельных скоростях. «Похоть порно перебьет запах попкорна, – бормотал он, расхаживая взад-вперед по грязному полу подвала. – Запах попкорна схватит за пах порно». Как только Мистер Зельц распутал значение каламбура,

он понял, что для Вилли возвышенные чувства важнее секса, по крайней мере, когда речь идет о сочинении симфоний. Уж если говорить об удовлетворении эстетических наклонностей собачьего племени, то нужно отдать предпочтение духовным исканиям перед физическими потребностями. Вследствие этого после двух долгих недель обнюхивания полотенец и салфеток, пропитанных запахами сук, Мистеру Зельцу внезапно был предъявлен совсем другой объект: Вилли собственной персоной вместе со всеми своими телесными испарениями. Грязные носки, майки, носовые платки, трусы, шарфы, а также шляпы и ботинки – самые разные предметы, хранившие в себе запах хозяина. Мистеру Зельцу это понравилось не меньше, чем предыдущее занятие. Ведь Мистер Зельц был всего лишь собакой, а они с удовольствием обнюхивают все, что им дают. Такова их природа, такими они родились на свет, таково их (как однажды справедливо заметил Вилли) жизненное призвание. Единственный раз в жизни Мистер Зельц испытывал счастье оттого, что не наделен даром речи. В противном случае ему бы пришлось поведать хозяину горькую правду, которая, несомненно, немало бы того огорчила. Ему бы пришлось произнести следующие слова: «Дорогой хозяин, дело в том, что для собак весь мир уже сам по себе является симфонией запахов. Каждый час, каждый миг их существования наполнен как духовными, так и физическими переживаниями, связанными с обонянием. И поскольку для собак нет различия между внешним и внутренним, то для них нет и различия между высоким и низким. Как бы это объяснить получше…»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.